

Он не был мэтром подобно Николаю Александровичу Левкоеву. Ни блистательным осколком дворянской культуры, как Георгий Аполлинариевич Яворовский. Ни великолепным театральным эрудитом, светочем, подобно Виталию Александровичу Лебскому. Даже не был таким мощным профессионалом, как Людмила Александровна Булюбаш или Лидия Ивановна Гостева.

Он был совестью. Трогательной, неуклюжей и нелепой человеческой совестью, невесть каким ветром занесённой в театральную тайгу, конечно, очень уязвимой и беззащитной.

Я учился у него с 1961 по 1965 год и еще 5 лет сотрудничал с ним как педагог. Самые молодые из нас родились уже после войны, т.е. были

другим поколением. Не то что бы мы не ведали стыда и совести, но у нас этого добра было уже как-то меньше, чем у старших. И все мы не могли уловить природу чужаковости этого молодого тогда, но не казавшегося молодым человека. Война, совесть, а также вера и наивность – краеугольные понятия полученной Соколоверовым театральной школы – сделали своё дело. Он совершенно не осознавал, чего он стоит в искусстве. Для него оставались по ту сторону понимания ирония, которой в то время рьяно овладевала советская молодежь, и нарождающийся послевоенный цинизм – тот, что сегодня разросся до вселенских масштабов.

Он, не дрогнув, назначал занятия актёрским мастерством на 08.45 чтобы успеть к репетиции в Театре комедии, в котором служил не помню до какого года. При этом он верил, что студенты накануне этих утренних бдений ложатся спать пораньше (как он сам) и не делают ничего, что помешало бы их утренней свежести и мобилизованности.

Однажды я проглядел в расписании свой отрывок, назначенный на без четверти девять утра, и, конечно, мирно спал. В девять часов позвонил Соколоверов. Мы объяснились. Я, используя шестнадцатилетний утренний сонный баритон, протянул в трубку примирительно: «Ну, бы-вааает». И – единственный раз за время общения с Валерием Семёновичем – я почувствовал, что мой учитель – фронтовик. Ни одного грубого слова он не употребил (всё же был фронтовик-интеллигент), но интонации и накал тембра запомнили на полвека, наверное, не только я, но и Горьковская городская телефонная сеть. За эти пять минут я как будто побывал на фронте. И в последующие пятьдесят лет со мной подобных дисциплинарных огрехов уже не случалось.

Я не помню, когда у него начались запои. Кажется, когда мы учились на втором курсе. Или бывали и раньше, но проходили незаметными для нас. Его алкоголизм был бунтом воспалённой совести, а запои – её взрывами. Он жил с очень большой (хотя и пережившей его) женой, мужественной и доброй Надеждой Терентьевной, с сыном и кошкой в комнате-пенальчике с отдельным входом на Свердловке. Если не изменяет память, там не было ни ванны, ни душа. Впоследствии возникла откуда-то ещё и тёща.

Жена переносила операцию за операцией, денег не было. Было стыдно перед семьёй – срывался в запои. Во время одного из них я услышал от него: «У меня рак души». Он никогда не был душевнобольным, но душа болела без отдыха. Иногда на первой стадии запоя он звонил в Москву своему педагогу по Школе-студии МХАТ Олегу Николаевичу Ефремову. Однажды при мне был такой разговор: «Здравствуйте, Олег Николаевич! Это Валерий Соколоверов. У меня на втором курсе отрывок «В добрый час» не получается...» Дальше следовал большой обстоятельный разговор учителя с учеником, в то же время коллег, да и товарищей по несчастью. На последующих стадиях профессиональные темы уже не возникали.

Конечно, его пытались лечить. Уложили в клинику на Тихоновской. Я навещал его там и поразился перемене: в нём появилось что-то другое, мне незнакомое. Вышел он из клиники непьющим и в этом состоянии прожил до конца дней своих без единого «срыва» лет, примерно, сорок. Это, конечно, домыслы, но я подозреваю, что из болезни его извлекли не только наркологи, но и совесть. Стало стыдно перед семьёй, учениками, коллегами – и завязал навек. Другие подобные случаи мне лично неизвестны.

Валерий Семёнович стал солиднеть, зарастать жирком, семья переехала в новую квартиру, стало полегче материально. Он стал внешне походить на благополучного театрального педагога, сребровласого мэтра, благородного театрального старика... Но только внешне.

Как только исполнилось 60 – ушёл на пенсию, не переработав ни дня. На изумленное «почему?!» ответил со своим новым, посталкоголическим смешком: «Стыдно!..» Конечно, типологически он принадлежал к персонажам Александра Володина.

Главный эпизод моего воспоминания таков. Кажется, мы учились на втором курсе, когда случилось десятилетие выпуска Горьковского театрального училища, в котором Валерий Семенович учился до Школы-студии МХАТ у В. А. Лебского, Г. А. Яворовского, Л. А. Булюбаш, Л. И. Гостевой и других замечательных педагогов.

Съехались знаменитости: Евстигнеев, Хитяева, Гусев... Кому-то пришла остроумная идея – поставить мастеров экрана и сцены, как встарь, к балетному станку. Сказано – сделано. Лидия Ивановна Гостева, защищённая непрошибаемой никаким юмором броней, начала класс. Застеснявшиеся юбиляры пошли валять дурака, хохмить и хихикать. Все, но не Соколоверов. Он как-то вытянулся ввысь, стал шире в плечах, уже в талии, но главное – что случилось с глазами...

Таких глаз я у него более не видел. И без того выразительные, они помолодели не меньше, чем на десятилетие, в них появилось содержание, обычно не ощущаемое. Это была вера, надежда, даже экстаз от того, что вот здесь, сейчас у этого станка осуществляется его жизненное призвание – служение искусству. Его взгляд под звуки дешёвенького пианино ушёл в какую-то высь, где нет ни театрального цинизма, ни интриг, ни иронии, ни меркантильности.

Может быть, ему полагалось быть ведóмым (как в семье), а он бóльшую часть жизни был ведущим: педагогом, руководителем курса, постановщиком дипломных спектаклей, вершителем студенческих судеб. Что-то с чем-то, видимо, не сошлось.

Но этих глаз сидящего юноши, выполняющего «пор-де-бра» у деревянной балетной палки, забыть нельзя. Подозреваю, что этот взгляд возникал в моей (и не только моей) бессознательной памяти. Может быть, он удерживал меня от дурных шагов и поступков, потому что – стыдно.

---